

**П**

рожив на белом свете 77 лет, написав множество книг, я подумал, что можно теперь рассказать и о том, как моя судьба пересеклась с кинематографом.

Пусть сделано мизер, но для удовлетворения собственных амбиций бывает достаточно и этого. Литература и кино — разные искусства, хотя и близки, постичь их задача не из простых, кинематографисты учатся этому в специальных вузах, а у меня, самоучки, все вышло как бы само собой, спонтанно, однако имело свою предысторию, жизненную, что ли, творческую подготовку. Вся мудрость здесь в том, как распорядиться теми обстоятельствами, какие предлагались судьбой. Как сумел противостоять бытовым невзгодам. Как шел навстречу мечте...

1

*Жил на воронежской земле послевоенный, все еще трудный, голодный, как и несколько предыдущих 1951-й год...*

*После победных боев город и область восстанавливались, Воронеж обретал новый архитектурный, выздоравливающий вид, работали заводы и фабрики, в школах и высших учебных заведениях*

или нормальные занятия, трудились больничцы, городской транспорт, на улицах прибавлялось автомобилей, цвели улыбки счастливых граждан, звенел детский смех.

Оживали и селяне; примерно в ста километрах от Воронежа, недалеко от села Средний Игорец, действовал санаторий имени А.Д. Цюрупы, где отдыхали и лечились бывшие теперь фронтовики, ветераны Великой Отечественной, инвалиды, обслуживали которых и назначенные сюда врачи, и «aborигены» самого поселка санатория, какие пребывали на разных хозяйственных и административных должностях, и жители окрестных сел.

Здесь, под санаторием, прошло мое детство.

\* \* \*

...По выходным и особенно праздничным дням, когда отдыхающим в санатории имени Цюрупы давали прибавку в питании, мы с братом Славкой и еще одной местной девчонкой Нюркой, дочкой уборщицы, стояли у входа в столовую и просительно смотрели на выходящих из дверей. Нюрка иногда протягивала руку, но мы со Славкой стояли молча — что дадут, то и ладно. Отдыхающие, в большинстве своем простые люди, приехавшие из районов, бывшие фронтовики, знали, зачем мы тут стоим. Выносили из столовой остатки праздничного обеда — кусочки белого хлеба, печенье, яблоки. Иногда конфеты.

Однажды не старый еще, но седой мужчина в военном кителе и с палочкой в руке, протянув мне пару яблок, спросил:

— Отца нету, да?

— Его на войне убили.

— На каком фронте он воевал? Вдруг знакомый.

— Мы не знаем. Он раненый был, его везли в поезде, а под Минском состав немцы разбомбили. Мать потом получила бумажку — пропал без вести, захоронение неизвестно.

— Да, что там хоронить... — вздохнул мужчина. — Вагоны в щепки разлетаются, а люди, да еще раненые, не убежишь... Ладно, ребята, матери есть, значит, жизнь продолжается. Учитесь, старайтесь. Мы за вас воевали.

— Спасибо, дядя.

Бывало, мы принесли «санаторские гостинцы» домой, бабушка ругала нас: «Ну, чего ж вы попрошайничаете! Я ж пеку хлеб!» Но белый хлеб, а тем более печенье — все это было лакомством, которого мы не видели, не ели. Хотя бабушкин хлеб — это что-то: вкусный, хорошо прожаренный в настоящей русской печи, с подрумяненной корочкой и незабываемым запахом! Помню этот вкус и запах до сих пор.

Бабушка даже пригрозила нам, что пожалуется нашей матери, но передумала, а вечером наварила вареников с картошкой. Картошка была самым ходовым блюдом.

...Мать, издерганная послевоенной голодной жизнью, напряженными разговорами со своим отцом, Василием Дмитриевичем Лысыковым, в который уже раз заявляла на семейном совете:

— Нет, я все равно уеду. Так жить невозможно, отец! Ты меня постоянно упрекаешь, мол, живу у тебя, с двумя детьми, что получаю маленькую зарплату... А что я могу сделать — учительница начальных классов? У нас штатное расписание такое. Веду сразу четыре класса: первый ряд — первый класс, второй — соответственно... Ты думаешь, это легко? Учеников в санатории немного, всего двенадцать, но...

— Да знаю я все, Мария! — поморщился дед. Он, в засаленной у ворот гимнастерке, в поношенных рваных штанах, в теплых шерстяных носках, сидел на маленьком низком табурете у гудящей печи, почесывал белой алюминиевой расческой стриженую под ноль седую голову. Бабушка Дуня — приземистая, в неизменном платке, наполовину скрывавшем ее сосредоточенное, занятое работой морщинистое лицо, в

домашнем одеянии, ловкими руками то выхватывала рогацем из печи закопченный чугунок, то подбрасывала в пасть печи поленья...

Тетка Октябрина, сестра матери, перезрелая черноволосая девица, молча стояла у окна, повернувшись ко всем спиной, смотрела на голый уже сад, на первый октябрьский снег, лениво сыпавшийся с мутных небес, на сторожа-пса по кличке Угадай. Дед Вася любил давать кошкам и собакам занятные прозвища, даже корова Розка и та имела второе имя — Ходячая Молочница. Дед и детям своим придумывал имена со смыслом и значением: самый старший сын носил имя Александр, якобы названный так в честь Александра Македонского, успешного воина и правителя древнего государства на Балканах; второй, Амель, прозван в честь сына Адама и Евы, библейских персонажей; мать наша, Мария, названа, конечно, в честь матери Иисуса Христа, непорочно его зачавшей. (Мы со Славкой, ломали голову: как это можно сделать? На наш вопрос дед ответил: «Брехня это, что непорочно. Вот вы могли родиться у матери без отца?..» — «А Иисус был, дедушка?» — «Христос был, да. Но его возвысили до небес апостолы, какие писали ему речи...»). Ну, а Октябрина, самая младшая из детей, родилась в одну из годовщин Октябрьской революции, и кем же ей быть как не Октябриной?!

Мы, внуки, тоже носили имена знаменитостей: меня назвали в честь погибшего летчика Валерия Чкалова, а брата Славку в честь Молотова, здравствующего министра иностранных дел СССР. Так мы и жили — Валерий Михайлович да Вячеслав Михайлович, ибо сгинувшего на войне отца нашего звали Михаил Иванович.

Почему-то дед тяготел к внешним усердным проявлениям симпатии к Советской власти. Всячески демонстративно уважение к ней, преданность коммунистам и их делам. Иногда это вызывало невольную улыбку. Однажды мы со Славкой нашли недалеко от дома проржавевший, без барабана и, разумеется, патронов, револьвер. Отдали деду, а он, почистив оружие, отдал его участковому милиционеру, приехавшему из Среднего Икорца на потрепанном мотоцикле с коляской. Участковый, младший лейтенант, в немолодых уже годах человек, сделал строгое лицо, сказал со значением: «Поищем по номеру, кому он принадлежал. Спасибо, Василий Дмитриевич. Если что будет интересное, сообщайте».

В следующий раз мы со Славкой принесли деду чей-то череп с дырой в затылке. Больше в яме, которую мы раскопали, добывая для рыбалки червей, ничего не было. Дед и эту находку показал участковому, тот брезгливо повертел череп в руках, спросил: «А руки-ноги где?.. Ладно, выбрось. Это дела давно минувших дней, с гражданской, наверно. Кто теперь будет этим заниматься?»

Много лет спустя, мы со Славкой поняли, отчего дед заискивал перед представителями власти; однажды Славка подслушал разговор деда с его братом Михаилом, — они вспоминали двадцатые годы и то, как их «кулачили». Оказывается, комитет бедноты села Ольховатка, что на юге Воронежской губернии, отобрал у братьев Лысыковых («Лысые» по-уличному) то ли водяную мельницу, то ли крупорушку. И они оба *возможно* принимали участие в восстании Ивана Колесникова, что загорелось в Старой Калитве, а потом распространилось по всему югу губернии.

Но это было наше со Славкой предположение, и только. Мы уяснили, что происходит из рода вполне зажиточных крестьян. Я учился в третьем классе, кое-что стал понимать. Ни матери, ни бабушке мы ничего не сказали, да и с теткой Октябриной не стали на эту тему говорить, хотя у нас с ней были доверительные отношения, она нас жалела как сирот, оставшихся без отца, а мы ее — за то, что такая красивая девушка никак не выйдет замуж. Мы видели, как она переживает и поддерживает нашу мать в спорах с дедом.

Со Славкой мы росли без священного дурмана, в школе вообще не говорилось что-либо о православии, религии, дома дед то и дело подшучивал над священнослужителями, задавал нам провокационные вопросы: «Поп — это кто? Народный кровосос. Ничего не делает, только лапшу на уши старухам вешает, то есть опиум о за-

гробной жизни. Которой нет. Вот сейчас вы живые, в школу ходите, на лыжах катаетесь. А помрете — что дальше? Ничего. Тлен и забвение... А поп, толоконный лоб, чем промышляет? Ну, молитвы знает, покойников отпевает, поет. Ему за пение и платят. А, к примеру, попадье за что? А, Рыжий?»

Вопрос обращен ко мне, я должен в уже знакомую рифму ответить гнусным словечком, но попадья простая добрая женщина, я ее видел в Среднем Икорце, она чем-то похожа на нашу трудолюбивую бабушку, и я отвечаю: «За верность царю-батюшке!»

— Дурак, — спокойно сказал дед. — Сану она служит, попу. Пусть и сельскому, невелика птица. Поп в рясе, а ряса дана лоботрясу.

— Хватит тебе! — подала строгий голос бабушка, и дед унялся, ушел во двор.

...Разговор уuchi между тем накалялся.

— Тебя же никто не гонит, Мария! — кричал матери дед. — Живи, работай. Тесно, да. Дом маленький, ходим, зад об зад стукаемся. Денег мало, да. Вернулся бы твой Михаил с войны, жили бы вы в своем Лесково. Но нету его, что теперя?! Чего наладилась куда-то ехать?! В хижу можете перейти, побелите там, пол, правда, земляной, настелить бы... Октябрина, ты чего молчишь? Стоишь, как истукан.

Октябрина — маленькая, худенькая, со сложенными на груди руками, не поворачивая черноволосой, с уложенной на затылке косой, уронила в окно:

— Скажешь тоже, пап, с детьми в хижу идти. Мы там поросенка держали, а теперь... Дети простынут, заболеют.

Повернулась, продолжала:

— Вот Сашка с Авелем... уехали от тебя, как-то перебились, живут теперь не горюют.

Дед вскочил на ноги, умахивал руками, брызгал на Октябрину слюной, кричал:

— Да что ты сравниваешь? Сашка — майор в отставке, всю жизнь по гарнизонам, по Дальнему Востоку да Забайкалью. Ему на пенсию и дали целый дом. А Авель... И он при воинской части, музыкантом. А вы с Марией кто? Учителка с краткими курсами, недоучка, можно сказать, а про тебя, доця, и говорить нечего — счетовод в конторе колхозной, семилетку кончила. Кому вы нужны?

Заговорили теперь все сразу — и мать, и Октябрина, и бабушка, слов было не разобрать. Мы со Славкой забились в дальний угол печи, на постоянное свое место проживания. Не до нас взрослым. Надо переждать. Мы не все знали, не все понимали: дед говорит одно, мать — другое...

Повисло, наконец, молчание, бабушка тихонько плакала, Октябрина ушла в другую комнату, мать шмыгала простуженным носом. Сказала сердито:

— Вот зачем ты строил тут, на питомнике, в лесу, дом? Я понимаю, жить хотел просторно, с огородом, садом, с сараями... Речка рядом. Но почему в Среднем Икорце землю не взял? Или в санатории бы оставался. Там же два дома для сотрудников обещали построить...

— Врачам построят! — тут же возразил дед. — И ценным сотрудникам. А я кто? Пенсионер, руководитель духового оркестра. Подумаешь, шишка. Пришей кобыле хвост. Танцы по выходным играли, ну, торжественные мероприятия. Ну, на похороны нас зовут, из соседних сел, да. Лишний рубль не помешает. Это копейки. В Среднем Икорце строиться... да там даже на такой дом денежек побольше надо было, Мария, не понимаешь, что ли? Тут я возле леса, лишний дрючок приволоку, жердинку какую на дрова. Опять же луг под домом, Розке есть где пасть...

Бабушка, судя по звуку, закрыла заслонкой печь, села у стола, положила на клеенку, его покрывавшую, наработавшиеся руки, спросила со вздохом:

— И куда ж ты нацелилась ехать, Маша?

— На Сахалин, — тут же, как о давно решенном, отвечала мать. — Сейчас набор людей идет, переселенцев. На Дальнем Востоке людей не хватает. Работу гарантируют, хорошую зарплату. Ну, и на улице не оставят, жилье дадут. Чего тут сидеть, ждать у моря погоды?

— Да так-то оно та-ак...

Бабушка качала головой; подтянула платок под подбородком, сказала, обращаясь к деду: «Ну что, вечерять будем?»

Дед не ответил, говорил матери:

— В общем, так, Мария. Решила ехать — езжай. За длинным рубликом, так я понимаю. Не нужен тебе родной дом. А потеснились бы, потерпели бы, не пропали... Детей заберешь? Тоже на край света их повезешь?

Мать глянула на печь, на нас со Славкой.

— Валерку с собой возьму. А Славик... Мама, на тебя оставлю, ты не против?

— Да оставляй, — бабушка снова вздохнула. — Как-нибудь прокормим.

— Я буду деньги на него высылать, ты не думай! — У матери заискивающий, дрогнувший голос. — Каждый месяц. И посылки — обувь там, из одежки чего. На Сахалине, наверное, снабжение лучше... И еще... Октябриня с нами поедет.

— Да?! — здесь уже деду пришлось удивляться. — Вот, чертовки, что удумали! А мы с бабкой ни сном, ни духом.

Бабушка острыми концами платка вытирала глаза.

— Что ж ты, доця, бросаешь нас одних? И сыновья разъехали, теперь и вы.

— Осточертело мне в этой конторе сидеть, мама! — с надрывом произнесла Октябриня. — Бумажки, костяшки счетов, глупые разговоры об одном и том же: пьяные мужья, болезни, надои, падеж скота... Поеду! Хотя белый свет увижу. Как там, на Сахалине, люди живут.

Дед поднялся с кряхтеньем, уронил в пол:

— Ну-ну, езжайте, вертихвостки. За деньгами, за мужьями. — Повернулся к бабушке: «Мать, чего там на ужин?»

— Картохи, чего ж еще? — отвечала бабушка. — Капусты достала из погреба, ка-вун моченый. Сидайте вечерять.

Дед махнул рукой, пошел в опочивальню, крохотный закуток по соседству с большой комнатой, в котором помещалась одна скрипучая кровать с обвисшей сеткой и наброшенным сверху старым тулупом. Улегся, что-то бормотал — недовольное, осуждающее.

Поужинав, мы — мать, Октябриня и я — стали собираться в далекий путь.

Такое вот кино памяти промелькнуло у меня перед глазами.

Описанная картина дома родного относится уже к пятидесяти второму году, когда я начал учиться в четвертом классе, но спустя два месяца школу приходилось бросать. Правда, вместе с учительницей, своей матерью...

Школа же (жалкие одиннадцать учеников) оставалась в санатории имени Цюрупы, нашелся другой учитель, Загоруйко Иван Иванович, инвалид войны, после давней контузии на фронте говоривший с трудом, с легким заиканием. Но выбора у Лискинского района не было.

На питомнике же лесхоза оставались сейчас лишь три дома — Лысикова Василия Дмитриевича, Евгении Дмитриевны (не помню фамилии) и семейства Клейменовых; Витька Клейменов был моим закадычным дружкой. Хутор, насчитывающий ранее восемь домов, в глазах распадался, семья переезжали кто куда. В самом деле, неудобно было жить вдаль и от Среднего Икорца, и от санатория.

От самых Лисок до Владивостока мы ехали почти месяц в теплушке — приспособленном для перевозки людей вагоне, с дымной чугунной «буржуйкой», с двухъярусными нарами.

— Вот в такой теплушке и отец твой на войну уехал, — печально сказала мать,

когда мы осмотрелись, разместились в вагоне и перезнакомившись с соседями. — Помню, помаhal мне рукой... Мы его больше не видели.

Эшелон был довольно длинным, к нему на других станциях, в Поволжье и Сибири, потом и в Забайкалье цепляли все новые теплушки с такими же, как мы с матерью и Октябрьной, охотниками за длинным рублем, иногда и в наш вагон подсажали двух-трех человек, начинались новые расспросы, споры...

Мы, все трое, занимали верхние нары; рядом потом, уже в Сибири, расположилась молодая семья: хохотушка жена и молчаливый ее муж. На вопрос моей матери — чего, мол, снялись с родных мест, хохотушка охотно рассказала, что уговорила своего мужа (они недавно поженились) поехать повидать мир и «покушать красной рыбки».

— А вернуться мы всегда успеем, — сказала она весело. — Предки наши как по-друг, дом освободится, мы тут как тут. А, Коля?

— Угу, — мотнул Коля чубатой головой и больше с нами не разговаривал.

Во Владивостоке, ожидая переправы на Сахалин, мать и Октябрьина повели меня в баню. Не знаю, как уж так получилось, что я оказался с ними в женском отделении; Октябрьина стыдливо забилась в уголок, а я таращил глаза на голых теток — вот было зрелище! Мать все отворачивала меня, велела: «Не пялься, стыдно, ты уже большой», меня, однако, стыд не донимал, наоборот. И после месячного почти путешествия в теплушке горячая вода из просторной шайки была настоящим блаженством.

Переселенцев во Владивостоке содержали во временном приюте — в каком-то общежитии. Развлекали самодельными коллективами, душещепательными песнями местных артистов и фокусами картежников. Здесь же, в одной из больших жилых комнат, повесив на стену белую простыню, нам показывали кинофильмы: «Падение Берлина», «Небесный тихоход» с Николаем Крючковым и какую-то военную комедию, где Гитлер выглядел полным идиотом. Он то и дело выбрасывал вперед правую руку, шевелил щеточкой усов под носом, что-то визгливо выкрикивал, отчего его бравые генералы падали в обморок.

Народ смеялся.

— Вот, Валерка, — говорила потом тетка Октябрьина, — тебе бы в кино... Ты юмор чувствуешь. Все деда веселил своими шутками.

— Чего мальчишке голову забиваешь?! — укорила ее мать. — Пусть учится, хорошую профессию ищет. Токарем, например, или машинистом паровоза. Дед наш, ты же помнишь, во время войны помощником машиниста ездил.

— Помню, как же, — вяло отвечала Октябрьина. — Вечно грязный, вечно от него гарью несло. А в кино... вот жизнь! Все чистенькие, веселые.

Разговор этот никогда больше не продолжался. Да и чего бы он продолжался? Тетка увидела какую-то иную жизнь, позавидовала актерам, сказала, желая племяннику не такой скучной жизни, какая была у нее самой. Человек всегда мечтает о лучшем.

А я мечтал увидеть море. Сахалин же — остров, вокруг должно быть море, просторы, корабли! Пираты!.. К тому времени я прочитал уже книжку Роберта Стивенсона «Остров сокровищ», взятую в школьной библиотеке. Вот где жизнь!

...Наконец, нас погрузили на пароход «Николай Гоголь» и повезли на остров Сахалин.

С каким удовольствием, выбравшись из жилого трюма на палубу, я рассматривал пароход, ходил взад-вперед, расспрашивал моряков: «А это что?.. А это?..» И даже побывал на капитанском мостике, мне разрешили. Долго-долго стоял потом на корме, смотрел, как бурлит под винтами зеленватая вода, как долго тянется за судном белесый широкий след. Стоял великолепный солнечный день, чуть прохладный, воздух Японского моря был другой, чем на суше, во Владивостоке, слегка солоноватый, как и сама вода за кормой, брызги которой залетали сюда, на корму, и на губах жил привкус волнующей новизны простора, глубины, непривычного движения. Пароход не плыл, а, как говорят моряки, шел, и это действительно подтверждал уверенный, сильный ход «Николая Гоголя» по невысоким сейчас волнам.

Корабль по сигналу встретному судну низким, утробным гудком, дрогнули даже перила, за которые я держался, меня это взволновало — будто ток пробежал по круглым трубам перил, и тотчас родились морские фантазии: вот куда надо стремиться, вот чему нужно посвятить жизнь — морю! Мне, жителю полустепного Воронежского края, море было в новинку, поражало своими просторами, а ведь там, за Курильским архипелагом островов, — великий Тихий океан, где, куда ни глянь, волны и волны, по которым плыть можно долго — сквозь туманы и шторма, чувствуя под собой, под днищем корабля безмерную толщу соленой воды. Дома, у деда, я уже пристрастился к чтению, брал в библиотеке санатория книги, читал и Жюль Верна, и Константина Станюковича, и Леонида Соболева, знал имена великих русских флотоводцев: Федора Ушакова, Степана Макарова, Павла Нахимова, Михаила Лазарева, в специально купленном альбоме рисовал военные корабли с грозными пушками и острыми форштевнями, разрезающими тугую морскую воду. И картина Айвазовского «Девятый вал», приобретенная нашим отцом еще до Великой Отечественной, висела в доме деда над старинным комодом.

Я вернулся в трюм, к матери и Октябрине. Трюм напоминал общежитие, уставленное трехъярусными койками, кишел народом, каждый был занят своим делом — кто спал, кто о чем-то спорил с соседом, кто закусывал или просто бездельничал. В трюме было относительно тепло, по бортам горели тусклые лампочки, гул машин доносился сюда приглушенным, далеким. Но мощь машин чувствовалась и здесь.

— Везут как арестантов, — сказала Октябрина. — У нас там, в конторе, рассказы-вали по секрету, что где-то здесь, недалеко, на Колыму везли священников, вот так же, в трюме, а потом их затопили.

— Тихо ты! — цыкнула на сестру мать. Она — в сером тощеньком демисезонном пальто, в черном берете, шею охватывал шарфик, хорошо гармонирующий с ее карими глазами — строго так посмотрела на Октябрину: — Думай, чего говоришь.

И перевела улыбчивый уже взгляд на меня:

— Как там, наверху? Не холодно? У тебя руки холодные.

— Не холодно. Это я за поручни держался.

— А... Ну, посиди тут. Скоро приплывем, к вечеру дома будем.

— Дома?

— Сначала в порт Холмск приплывем, потом по железной дороге поедем, потом уже и эти самые Баюклы увидим.

— Баюклы... Странное какое-то название...

— Это фамилия человека, в честь которого и назван поселок, — сказал сидевший рядом мужчина в шапке и кожаном пальто. — И правильно надо говорить Буюклы.

— А-а... — протянула мать, кивнув. — Будем теперь знать. А то спрашивала-спрашивала — никто не знает. Я думала — это райцентр.

— Нет, райцентр — Поронайск. От Буюклов километров сорок до него, может, чуть меньше.

\* \* \*

Поселок Буюклы встретил нас, переселенцев, большими брезентовыми палатками, в которых размещали семей по десять, не меньше. В каждой палатке — по несколько дымящих «буржук», керосиновые фонари под потолком, привозная, в бочках, вода, теснота, удобства на улице... А на улице уже снега по щиколотку, мороз, правда, небольшой, градусов пять, как и у нас под Средним Икорцем. Жить было можно.

Каждая семья отгораживалась от соседей — кто простынями, кто одеялами, кто и доски отыскал.

Мать с Октябриной навешали на воображаемую стенку какого-то тряпья, сквозь

которое к нам заглядывали соседские девчонки, а я, соответственно, подглядывал за ними.

— Вот обещали хорошее жилье, а сами... — чуть не плакала мать. — Впереди длинная зима, мы тут померзнем.

Октябрина была настроена более оптимистично, говорила: «Рядом строят бараки, я видела. Сухие, теплые. Ничего, перезимуем. Как ты, племяш?»

Я разделял оптимизм тетки, ходил уже в школу, голова была занята уроками, а быт меня вполне устраивал. И с соседскими девчонками, тоже школьницами, Светкой и беленькой Катей, мы подружились. Особенно мне нравилась Катя — синеглазая, с толстыми косичками и звонким смехом. Засмеется — как колокольчик зазвенит. Другие так не умеют. Мать наша, если засмеется, то смех у нее какой-то задвленный, глухой. Наверное, это от перенесенных переживаний.

В конце зимы нас переселили в только что отстроенные деревянные бараки, матери моей, как имеющей ребенка, дали отдельную комнату, а Октябрина жила по соседству с молодой женщиной.

### 3

Жизнь, когда тебе всего одиннадцать лет, в любом случае прекрасна: мать есть, комната, пусть и небольшая, есть, в школу хожу, друзья тоже появились — чего еще пацану надо?! То, что ты живешь на краю земли русской, как-то не чувствовалось, не думалось об этом. Кругом люди: русские, украинцы, были армяне, таджики; жил неподалеку от нашего барака узкоглазый, в годах, кореец, он плотничал, что ли, во всяком случае я всегда видел его во дворе дома с одноручной пилой и горой досок, среди бревен и напиленных уже чурок; кореец только и делал, что пилил, пилил...

Октябрина сказала мне, что корейцы едят собак, дедок этот всех уже в округе поел; я тут же подумал: хорошо, что дедов Угадай далеко, за тысячи километров...

Жизнь на острове шла своим чередом: мать работала кассиром в леспромхозе, учительского места ей не досталось, потому что мы приехали в Буоклы в ноябре, штат в школе был заполнен, увы. Но она нос не вешала, кассиром так кассиром, нужно только освоиться. С первой же полочки она купила мне теплый лыжный костюм, примерно такой же послала и Славке с письмом деду и бабушке. Дед потом прислал ответ, в котором советовал матери с деньгами быть поосторожней, «считать их не торопясь и грамотно». — «И помни, Мария, что кругом жулики...» Передавал привет доце. Спрашивал: работает ли? Кем?

Мать с Октябриной похихикали над письмом, оно было написано в дедовом духе: сам Василий Дмитриевич жил осторожно, как бы с оглядкой, ни в какие авантюры никогда не пускался, чему сейчас учил и своих непутевых дочерей. Обо мне дед не спрашивал — то ли забыл, то ли не счел нужным тратить лишнюю бумагу письма.

Да я и не переживал, хватало теперь своих забот. Пришло первое для меня сахалинское лето, мы с толстеньким Петрухой и вечно сопливым Андриюшей, новыми моими школьными друзьями, лето посвящали самым разным забавам: во-первых, вся округа поселка была забита складированными бревнами; в бревнах этих мы играли, прятались от родителей, варили кашу и даже спали от усталости. Во-вторых, «во-евали» — против «немцев» и их диверсантов — тут уж приходилось звать других пацанов, мы вооружались самодельными автоматами, брали «укрепрайоны», пленных, допрашивали по всем правилам, как в кино, а фильмы о войне в нашем клубе смотрели внимательно и с большим удовольствием.

Я заметил за собой, что хорошо запоминаю имена актеров, их речи с экрана, поведение. Значения этому особо не придавал — хорошая память, чего тут?! И в школе хорошо учился, учителя хвалили. С Петрухой и сопливым Андриюшей нас записали в драматический кружок, две молоденькие учительницы — Наталья Викторовна и На-



талья Моисеевна — затеяли поставить пьесу по Ноголю, «Ревизор». Самы учительницы тоже принимали участие в этом спектакле, одна из них изображала жену городничего Анну Андреевну, другая — их дочь, Марью Антоновну. Мне досталась роль Хлестакова, Андрюше — слуги Осипа, Петрухе — самую главную, Городничего. Петруха, как я сказал, и так был толстячком, а когда ему на живот повесили еще и подушку, вообще стал колобком, катался по сцене, а не ходил, и наши режиссерши-учительницы умирали со смеху. Смеялись они и над Андрюшкой: произносятся слова, он то и дело шморыгал сырым носом, текст выходил смешным сам по себе, искаженным, вроде: «...Да зачем мне... мх-р-р... валяться... мх-р-р... на вашей постели?... У меня... кх!.. к-х!.. ноги имеются...» Я репетировал в какой-то женской рубашке-балахоне с бантом на шее. Визгливо кричал Осипу, слуге: «Ступай в буфет. Там скажи... чтобы мне дали пообедать. Ступай, скотина!»

Директор школы, тучная женщина в черном, мужского покроя костюме, как-то заглянула на репетицию, молча смотрела на действие, потом сказала:

— Наталья Моисеевна, оставьте вы это. Не смешно и глупо. Дети взрослых играть не могут. И вы — какая вы жена Городничего? Как вы собираетесь обнимать... хм... мужа?

— Ну, это же комедия, Валентина Самуиловна. Наша задача повеселить зрителя.

— Поставьте что-нибудь другое. «Тимур и его команда», например. Или сказку «Колобок». Вот этот парнишка, что сейчас с подушкой на животе, как раз годится. А вы с Натальей загримируйтесь под старика и старуху... Отпустите детей, лето на дворе, пусть отдыхают.

Директор, четко печатая шаг, пошла из зала, а мы...

А мы теперь были предоставлены сами себе. Ура!

В громадной луже (какой-то бывший незасыпанный котлован) плавали на сколоченном на скорую руку плоту.

Среди бревен воевали «с немцами».

Цеплялись за задние борта проезжающих по поселку машин. В начале пятидесятых годов на Сахалине, в тех же Буюклах, было еще полно грузовиков, работающих... на березовых чурках! Да-да, с двух сторон кабины стояли эдакие цилиндры, в которых тлели березовые чурки, и машины двигались.

Но особым шиком, как в летнее, так и в зимнее потом время было прицепиться специальным железным крюком к борту «студебеккера», американского трехосевого грузовика, каких полно было на фронтах Великой Отечественной, и проволочиться за ним по улице Буюклов.

Кино мы все, пацаны, да и девчонки тоже, очень любили. Чего только не смотрели! И «Падение Берлина», и «Небесный тихоход», и «Подвиг разведчика», и «Волга-Волга» с Любовью Орловой и Игорем Ильинским, и «Чапаева»... И спрашивали потом друг у друга: «А где, Петька, командир должен быть?» И Петруха отвечал: «Впереди, на лихом коне». А про фильм «Веселые ребята» и говорить нечего. Сколько радости, смеха было в зале, когда музыканты принимались колошматить друг друга своими инструментами! В зале кричали, свистели, часто пацаны затевали собственную свалку, и тогда включали даже свет, и кино на время останавливали. Такое было влияние на зрителя «величайшего из искусств».

Американские фильмы мы смотрели более дисциплинированно, с широко открытыми глазами — это был другой мир, другие люди, другая жизнь. Но особенно нас поразило «Тарзан».

Ох, уж этот Тарзан, его любовь к девушке по имени Джэн, и обезьяна Чита! Джунгли — экзотика, лианы, дикие звери, гортанный крик Тарзана, летающего на лианах с дерева на дерево. Потом мы с Петрухой и Андрюшкой, выманив у родителей крепкие веревки, сами превратились в «тарзанов», привязывали эти веревки к ветвям деревьев и, оглушая округу своими воплями, с утра до ночи носились по воздуху взд-впе-

ред. Кино это было как раз для таких, двенадцатилетних несмышленьшей, не понимающих еще, как рождаются все эти «тарзаны», девицы Джэны и дрессированные обезьяны Читы. Мы и зрители, не отягощенные особым интеллектом, воспринимали виденное на экране как подлинность, хотя в титрах ведь значилось: фильм снят по книге американского писателя Эдгара Берроуза, а роль Тарзана исполнил актер, знаменитый спортсмен Джонни Вайсмюллер. Но кто тогда читал эти титры, ломал язык, стремясь произнести имена американских актеров?! Попробуй выговорить сразу: ВАЙСМЮЛЛЕР...

А вот наших актеров мы помнили, повторяли, влюблялись в красавиц-актрис. В двенадцать-тринадцать-четырнадцать лет — самое время, да! Конечно, рядом с нами были наши сверстницы, школьницы, та же Светка Меркулова и ее беленькая, с толстыми косами, сестрица Катя, но что они значили перед безозубой улыбкой Любови Орловой, или заливистым смехом красавицы Целиковской? Да и та же Джэн из «Тарзана». От взрослых актрис веяло настоящей жизнью, какими-то неведомыми нам, пацанам, тайнами, *любовью*... Да и молоденькой учительнице немецкого языка из нашей школы, той же Наталье Моисеевне, хотелось уже послать тайную записку с измененным почерком: «Их либе дих, Наташа...»

Может быть, эти чистые юношеские чувства и мысли, может, что-то еще, но, конечно же, под влиянием увиденного в кино, прочитанного, подмеченного в недолгой еще жизни — подсказали мне занятие: создание собственного кинопроизводства. Впереди было новое лето, школьный наш театр не получился, артистов из нас с Петрухой не вышло, все книги из библиотеки прочтаны — что делать?

Громкие слова «собственное кинопроизводство» стали воплощаться в деревянный ящик с круглой дыркой, в которую было вставлено увеличительное стекло. Явилась тренога. Ящик на ней держался довольно надежно. Внешне теперь это было похоже на съемочную профессиональную камеру. Даже ручка для перемотки пленки имелась, Петруха принес рукоятку от старой швейной машинки. На этом все сходство заканчивалось.

Кинопленки, как таковой, у нас не было. Даже фотопленки.

Барабанчик перематывал длинную-длинную бумажную ленту, нарезанную и склеенную из школьных тетрадей.

На ленте мы рисовали кадры. Сначала простейшие: лес, дома, грузовик «студебеккер», здание школы, бараки...

Потом пошли лица: Наталья Викторовны, Натальи Моисеевны, Светки, Кати, моей мамы и Октябрины.

Конечно, они не были похожи на подлинных женщин, так, какое-то лицо с короткими или длинными волосами, или с косами. Приходилось внизу, под кадром, писать: Катя, Наталья Моисеевна...

Да, забыл сказать: бумажная эта лента с другой стороны ящика просвечивалась обыкновенной свечой, которая чуть не спалила наш проекционный аппарат. Это потом, когда мы раздобыли электрический фонарь, кадры стали отчетливее, виднее. А предприятие безопаснее.

Петрухе скоро это занятие надоело.

— Чушь! — уныло сказал он. — Какое-то глухонемое кино.

— А Чарли Чаплин?! — возразил я. — Там тоже звука нет.

— У него все движется. Все, что он делает и делают его артисты, понятно. А у нас что? Дома, какие-то тетки... Катя твоя, Наталья Моисеевна, «студебеккер»... Тьфу! Через стекло мало что видно, рисунки плохие. Мы с тобой не художники, Чкалов, не забивай себе голову. Я выхожу из такого кино.

И Петруха ушел. Как показали последующие события, мы виделись с ним в последний раз. Но об этом чуть позже, а пока расскажу, что в школе я проболтался, мол, назвали меня в честь знаменитого летчика, тут же пацаны вместо школьного произв-

ща «Барабан» стали звать меня Чкаловым. Вот и Петруша тоже назвал, царство ему небесное...

На следующий день, мать, придя на обед, чтобы заодно покормить и меня, сказала жалким голосом:

— Валер, Петя, твой дружок... машина его сбила, Солдат пьяный на «студебеккере»... Я сейчас шла... Там люди стоят, машина эта... И Петя еще лежит.

Я бросился на улицу.

Петруха, вытянувшись, лежал возле зеленого, пропыленного «студебеккера» с разбитой окровавленной головой, с открытыми невидящими глазами, в клетчатой своей, с короткими рукавами, рубашке и смятых штанах. На правой ноге не было сандалии, ступня неестественно вывернута, а желтый ноготь на большом пальце сорван, висел сам по себе. Почему-то именно эта деталь бросилась в глаза и запомнилась. Я часто потом видел этот петрухин ноготь во сне.

Вокруг погибшего, вдоль пыльной грунтовой дороги, проходившей через поселок, стояла толпа, женщины и плакали, и проклинали какого-то сержанта, сидевшего за рулем грузовика и которого увезла милиция, требовали ему расстрела. В толпе я заметил и Катю, всю в слезах, с распущенными волосами. Потом явились врачи — молодой парень в круглых очках и белом халате и девушка с медицинской сумкой через плечо. Врач пощупал пульс Петрухи, послушал и сердце, сказал:

— Никакой помощи не требуется. Он умер.

Женщины зашумели, заговорили все сразу, закричали: «А ты не спеши, доктор», «Укол ему сделай!», «Массаж сердца, массаж! Парню-то всего тринадцать лет, жить бы ему да жить!»

— Да, согласен, жить бы ему...

Врач поднялся на ноги (сидел перед этим у трупа на корточках), пошел прочь. Двинулась за ним и девушка с сумкой.

Подождали, пока явится другая машина; Петруху бережно погрузили в кузов, повезли прочь.

— Гоняют, как полоумные...

— Судить их, алкоголиков, судить!..

— Ох, горе-то какое матери. Один он у Фроси, один был. Она на глазах поседела...

Вот последнее, что осталось в моей памяти. Даже похорон Пети не помню, словно стер их ластиком какой-то «заботливый» хранитель того события.

\* \* \*

В двенадцать лет о смерти не думаешь, наблюдаемые тобой время от времени похороны стариков тебя не касаются, смерть где-то далеко, за морями-океанами, к тебе она *может и не прийти*.

Да, тогда верилось.

Но смерть Петрухи, дружка моего и первого соавтора «фильмов Буюклы-53», произвела на меня глубокое впечатление. Даже более глубокое, чем смерть товарища Сталина в марте этого, 1953 года. Сталин умер в Москве, за тысячи километров от Сахалина, мы здесь, на острове, не видели похорон, масс людей, хлынувших проводить вождя, наверное, не испытывали тех чувств, какие познали москвичи, провожая генералиссимуса в последний путь. Правда, в школе отменили занятия, директриса ходила вся в черном, а наши учительницы, Наталья Викторовна и Наталья Моисеевна, плакали навзрыд. А мне, как отличнику по русскому языку, поручили читать в классе некролог о смерти любимого вождя.

Сейчас, оставшись без друга (с Андрюшей у нас как-то расстроились отношения), я стал размышлять о жизни углубленно, понял вдруг, что и сам я смертен, как любой другой человек, и от этой ужасной мысли, оставшись в комнате один (мать была на работе), горько заплакал.

Слезы облегли душу, это правда, плакать время от времени надо, пришли другие мысли, взгляд упал на треногу с «кинокамерой», и я подумал, что надо продолжать начатое с Петрухой дело. Хотя он и разочаровался в предприятии, но какое-то время мы болели одной болезнью и хорошо понимали друг друга. А главное — великое значение кинематографа, который манил, притягивал своим загадочным искусством. Тяга в моей душе оставалась. Так просто бросать самодельное кино не хотелось.

Из пришедших размышлений вырисовывалась мысль, что надо придумать какие-то иные истории, «Тарзана» и «Падение Берлина» повторять не годится, это уже пройденный в мировом кино этап. Нужно что-то свое, свежее, может быть, и местное, из поселка Буюклы. Словом, нужны были новые сюжеты.

Свежее было то, что я, не так давно лично пытался украсть некий плотницкий прибор под названием «ватерпас». Это такая длинная деревянная штука, похожая на школьный пенал для карандашей и ручек, а внутри этого пенала, посерединке, плавает воздушный пузырек для определения горизонтальности строительства. Эти технические подробности я узнал потом, когда спасся и сохранил голову от предстоящей казни. И зачем мне понадобился этот ватерпас — не знаю.

А было так: иду из школы. Мимо строящегося деревянного дома. Рядом никого нет. Но на подоконнике лежит что-то непонятное, продолговатое, с пузырьком посередине. Взял и пошел. И вдруг слышу за собой топот — гонится рослый лохматый парень, но не кричит, а... мычит (оказался глухонемой). Я бросаю эту непонятную штуку, бегу к дому, своему барaku. «Удобства», как уже упоминалось, во дворе, я заскакиваю в один из туалетов, закрываюсь на хилый крючок.

Дверь туалета с треском распаивается, глухонемой, держа в руках ватерпас, что-то мычит, замахивается на меня. И быть бы, конечно, беде, но тут появляется Октябрина — видела, оказывается, погоню — отталкивает плотника, кричит: «Ты что? Ты чего?.. Он же глупый, пацан, зачем ему эта твоя хреновина?»

Глухонемой отступил, что-то бормотал невнятное, но злое, ушел. А мать потом проехала пару раз по моей спине школьным ремнем. Поучала: «Никогда не смей брать чужое. Не тобой положено, не тобой и взято. Понял?»

Я понял и навсегда запомнил эту народную заповедь. И за всю жизнь не присвоил чужой копейки. Что заработал честным трудом, то и твое. А богатым, да еще вороватым, не завидуй. Спи спокойно.

Вспомнив наставления матери, я поежился. Ремешком она поработала хоть и кратко, но чувствительно.

Так что, об этом новую бумажную ленту рисовать? Нет, не стоит. Смысл тут простой — не воруй. Пусть и по глупости.

Лучше вот о чем можно рассказать — как местную дурочку, Галию Цепляеву, изнасиловали тут, в Буюклах. Привезла же ее некая мамаша с липецкой, что ли, земли на самый край, на остров. Думала, наверное, что здесь мужики все порядочные, ан нет. Нашелся змей горыныч, полез на эту самую Галию.

Дурочка потом принародно, вся в слезах, с перекошенным слюнявым ртом, едва связывая слова, рассказывала и, задирая юбку, показывала что этот змей вытворял с ней. Стояла кругом толпа, практически одни женщины, и мать этой Гали тут же была, поддакивала дочке: «Говори, говори, Галюся, пусть народ послушает, да на суде потом скажет слово... А ты, мальчик, иди отсюда, ничего тебе тут разглядывать».

Это — ко мне, тетки прогнали.

И что — создавать по этой истории кино?

М-да. Надо подумать. Может, вот этот сюжет взять? Тут я тоже участвую. И мораль выходит сама, и кое-кого из взрослых тех девок прищучить можно.

А сюжет вырисовывался следующий — в тот же год, в августе пятьдесят третьего... Школяры уже набегались за лето, нагулялись. Море-океан далеко, речки нет, лужи

высохли, ягод черники с голубикой набрали в окрестностях Буюклы (мы с матерью тоже собирали), медведь с никого не задрал, в Тарзана наигрались, развлечений нет.

Случайно я столкнулся на пороге барака с соседской девчонкой, она несла кастрюлю с горячей водой. Вода плеснула ей на ноги, она заорала с перепугу благим матом, бросила кастрюлю на крыльцо, а я, с того же перепугу, кинулся в спасительные завалы бревен. Затих там в знакомом закутке, решил переждать бурю, мать ведь опять за ремень возьмется.

Прошел час, другой, ни та девчонка не появлялась (я наблюдал за домом сквозь щели в бревнах), ни моя мать. Зато появилась девчачья ватага, человек пять. Возглавляла ватагу местная знаменитость — некая Марго-барыга, девятиклассница нашей же школы Ритка Бусалаева, второгодница и хулиганка. Шпана, попросту говоря. Словом, пристойным поведением она не отличалась. И покуривала (мы это видели не раз), и что-то все перепродавала и вообще... намекали на ее разгульность. Марго была рослой крепкой девицей, хорошо играла в волейбол, а с нами, пацанами, в футбол. Орала на поле: «Бей, сучонок, давай мне под левую ногу!.. Она у меня голевая».

С Марго — еще девахи, восьмиклассницы, ее товарки, единомышленницы, но с ними была и... Катя Меркулова. В простеньком летнем платьице, с косами по плечам, в белой панаме. Они расположились на бревнах неподалеку от меня и... все закурили. Судя по тому, что Катя закашлялась, она курить начала только что.

— Ничего, ничего, — хлопала ее по спине Марго. — Научишься.

Одна из девах пошла в мою сторону, присела совсем рядом, зажурчала водичка. Деваха вдруг увидела меня, вскочила.

— Марго! Тут этот... Чкалов!

Подбежали другие девицы.

— Ты что тут делаешь? — спросила Марго. — За нами шпионишь?

— Нет. Просто сижу.

— Ладно. Курить с нами будешь?.. Тоже нет. Тогда вот что: Катьку любишь?

— Я... она мне нравится, да. И что?

— И ты ей нравишься, мы знаем. Мы вас сейчас пожемим. Катерина, иди сюда.

Целуйтесь! Горь-ко!

«Горько-о!» — завопили и девахи.

Мы с Катей неумело ткнулись губами.

— Так, — деловито одобрила Марго. — Теперь первая брачная ночь. Видели, как взрослые это делают?

Катя, опустив голову, стояла ни жива, ни мертва.

— Рита, не дури, — дрожащим голосом сказал я.

— Я не дурую. Катька, снимай трусы. И ты, Чкалов.

Катя побледнела; в следующую минуту рванулась было бежать, но ее тут же схватили за руки помощницы Марго. Та сказала:

— Катерина, не дергайся. А то мы все твоей матери расскажем. И что куришь с нами, и что ты уже не девочка. Ты думаешь, мы про Харченко Володю не знаем?

Катя бессильно опустилась на бревно, плечи ее зашлись в безутешном плаче.

— Раздевайся, раздевайся... — заталдычили паскудную девицы. — Мы никому не скажем. Снимай трусы, Меркулова, кому сказано!

И Катя... начала раздеваться. Стояла, держала в дрожащих руках трусики.

Я бросился на Марго, на эту наглуемую рослую дылду, но она явно ждала этого, встретила меня пинком, ее удар подхватили другие девицы, и скоро я был повержен, упал на землю, закрыв лицо, ощущал на теле удары...

— Что вы делаете, девочки! — кричала Катя. — Перестаньте! Слышите?.. Помогите-е-е... Люди-и...

Девахи бросились врассыпную, а Катя склонилась надо мной, вытирала ладонью кровь с лица, все еще дрожала, говорила сбивчиво, взхлеб: «Валера, прости меня...

Я... Но ты никому не говори, ладно? Они просто попугали нас... Они все Марго боят-ся. И я тоже боюсь. Она матери моей скажет... Они врут про Володю Харченко, ниче-го у нас с ним не было».

Я поднялся с земли, мотал головой, мол, все понял, не переживай, иди домой...

Эту ночь я провел в бревнах — являться домой с разбитым носом да еще с греш-ком по поводу горячей кастрюли... Нет, пусть мать успокоится, остынет.

А она допоздна ходила между бревен, звала: «Валерка, сынок, я знаю, что ты где-то здесь. Выходи... Я бить не буду...»

...Катя Меркулова с сестрой Светкой и матерью этим же августом переехали в По-ронайск, в райцентр, и я Катерину больше никогда не встречал.

Что касается моих сахалинских «кинопотуг», они на этом закончились.

Конечно, кому нужна плохо нарисованная бумажная лента, пусть и непридуман-ные, но бытовые, частные истории, когда существовало большое звуковое кино, за-мечательные фильмы киностудий страны и не менее замечательные американские... К тому же, я узнал, что «изобретенный» нами с Петрухой «кинопроектор» давно изоб-ретен, существуют черно-белые и цветные диафильмы и проекционный аппарат под названием фильмоскоп. Когда же я попросил мать купить фильмоскоп и хотя бы не-сколько диафильмов, она сказала: «Денег на эту игрушку у меня нет; Славке, вон, надо послать костюмчик».

Сердце мое сжалось от горя.

Прощай, маленькая детская мечта!

#### 4

Довольно скоро в нашей с матерью комнате стал появляться дядя Леша — высо-кий кудрявый человек, бывший военнотружачий, волею судеб заброшенный на ост-ров Сахалин. Из армии он уже уволился, работал в местном леспромхозе, к нам хо-дил, как правило, в полувоенной одежде — в гражданском сером пиджаке и белой ру-башке, а в начищенные хромовые сапоги заправлял синие галифе.

У него были яркие голубые глаза, какими он внимательно рассматривал сначала нашу комнату и бедное ее убранство, потом меня — пристально, изучающе.

Сел на койку матери, сказал с улыбкой:

— Ну что, давай знакомиться, товарищ Чапаев.

— Почему «Чапаев»?

— Ну, так же ребята тебя зовут?

— Чкалов он, Леша, — мягко поправила мать. Она сидела у стола в любимом сво-ем платье вишневого цвета, которое ей очень шло под карие глаза, темные волосы и белое чистое лицо; мать явно волновалась — как состоится наше с Лешей знаком-ство? Щеки ее зарозовели, лицо напряглось.

Дядя Леша реагировал просто:

— Ах, да! Спутал. Чкалов тоже хорошо. Летчиком будешь?

— Моряком.

— Гм. Море увидел, на корабле плыл...

— Я еще раньше так решил.

Дядя Леша закинул ногу на ногу, закурил.

— А что: решил, значит, надо действовать. Вот школу закончишь...

— Рано об этом говорить, пусть учится, — вступила в разговор мать. — Учится хорошо, на четверки и пятерки. И музыкой начал у бабушки заниматься, да мы вот сюда уехали. А тут он, представляешь, Леш, кино увлекся.

— Это как?

— Ну, камеру они придумали с другом Петей, на бумажной ленте картинки рисо-вали. Через увеличительное стекло картинки эти и разглядывали.

— А... Это забава. Кино надо всерьез заниматься, в институт поступать... Как его... В Москве... Не помню названия.

Мать вздохнула.

— Это бабушка еще надвое сказала... Москва далеко, школу надо окончить. Ну что, чаю поьем за знакомство, Леш?

— Давай. Можно было бы чего и покрепче, но... — глянул на меня. — С детьми не положено.

Так вошел в мою жизнь Алексей Кузьмич Панасюк, мой будущий отчим, человек легкий, трудолюбивый, понимающий и ценящий юмор, сам мастер рассказывать анекдоты и веселые истории. Был он наблюдательным и добрым по натуре, расположенным к людям, у меня с ним и в будущем не возникло каких-либо проблем, ко мне он относился, можно сказать, с уважением и информацией матери о кино, видно, запомнил. И время от времени спрашивал: «Так что, Валерий Михайлович, надумал: море или кино?»

— Море.

— Правильно. В море честная жизнь, открытая, а в кино надо притворяться.

— Почему притворяться?

— Ну, это если про актеров говорить. Они же за других людей живут. Изображают их, так я понимаю. Это непросто.

Я промолчал, не знал, что отвечать. Конечно, Алексей Кузьмич знал больше меня, жил дольше на белом свете. Может быть, и больше кинофильмов посмотрел.

Наверное, дядя Леша служил в армии в каком-то спецназе, любил развлекаться со мной тем, что учил «выбираться из сложных ситуаций». Для чего сажал меня на пол, под коленями связывал руки полостенцем и требовал, чтобы я вставал «по нормативу», за пять секунд. Или ползать по-пластунски, зажав в зубах кухонный нож. А однажды, нарисовав у меня на лбу какой-то иероглиф, очень напоминающий паука, взъерошив волосы, велел прижмурить глаза, сделать «зверскую японскую рожу» и все с тем же кухонным ножом в руке кричать: «Банзай! Русски сиолдат, брось Хасан-озеро! Сдавайся! Тьебе конец. Япона-мать!»

Я, имеющий уже опыт «актерства» в школьном «Ревизоре», старательно вопил эти дурацкие слова, а дядя Леша с матерью хохотали до слез.

К слову сказать, в школьной библиотеке я читал книгу про сахалинских пограничников, помню даже рассказ «Конец Саго Мару», как некий герой-пограничник не спал трое суток, удерживая японскую рыболовецкую шхуну. Так что на забавы дяди Леша я не обижался, они вполне соответствовали воспитанию патриотического духа в «подрастающем поколении».

Чтобы закрепить наши отношения, дядя Леша с матерью поехали в ближайшее воскресенье в Поронайск, привезли мне подарок — трехструнную балалайку. Почему именно этот инструмент — не знаю; во всем нашем бараке на балалайке никто играть не умел, как ее настраивать — тоже никто не знал. По слуху, на дребезжащих струнах, я подбирал мелодии, выучил «Светит месяц» и «Жили у бабуся два веселых гуся...»

Народную мелодию про «месяц» я посвятил деду, сочинив собственный стих:

Светит месяц, светит ясный.

И невестится Луна.

Нос у деда очень красный,

Всем понятно — с бодуна.

Мне было жаль нашу мать, которую злой дед загнал своими разговорами на край земли, аж на малообитаемый остров Сахалин.

Но матери стих под балалайку не понравился.

— Не лезь не в свое дело, — сухо сказала она. — Дед сейчас не поет.

Дальше дело с музыкой не двигалось, у балалайки лопнула струна, играл я и на двух. Потом балалайка куда-то делась. Да и занятия в школе начались.

А дядя Леша и мать занимались своими делами, работали в одном леспромхозе, вечерами ходили в кино или запирались в комнате, предоставляя мне для гуляния лишний час.

...Весной в нашей комнатухе появилась новая жиличка, крохотная девочка Людмила. Плач по ночам, пеленки-распашонки, тревожные разговоры родителей о какой-то сыпи, опрелостях, детском питании... Дядя Леша оказался заботливым отцом, помогал матери, переживал за здоровье дочки. Мать, кажется, не досидела положенный декретный отпуск, досрочно вышла на работу, а на меня возложили обязанность кормить Людмилку манной кашей, «присматривать» за девочкой.

Чтобы совместить свои личные занятия с воспитанием юной леди, я сколотил из обструганных досок подобие коляски на четырех колесиках-подшипниках, возил сестренку по улице на прогулку и в магазин, под насмешливые замечания пацанов, Както и Марго меня встретила, спросила ехидно: «Меркулова тебе ребенка подкинула? Я так и знала, что вы согрешите... Поздравляю, молодой папаша! Ты, Чкалов, запроси с нее алименты, чего одному тратиться...»

\* \* \*

Осенью пятьдесят четвертого года, едва у меня начались занятия в школе, в пятом уже классе, мать вдруг засобиралась «на материк», сообщила, что повезет меня к деду, в Средний Икорец. Причин такого спешного отъезда мне не объяснили, я понял, что у нее отпуск, два с лишним года мы безвылазно просидели на острове, пора, мол, проведать малую родину.

Моих протестов по поводу того, что надо опять менять школу, не слушали, оценки в моем табеле были хорошие, мать махнула рукой — догонишь, не переживай.

С Сахалина мы летели на самолете вдвоем — с Людмилкой; сестра в основном спала, никого не беспокоила, а я весь воздушный путь до Хабаровска пялился через иллюминатор на казавшееся застывшим море и крохотные кораблики на его поверхности.

А потом предстояла длинная-длинная поездка в поезде, множество станций, зеленые пассажирские вагоны и памятный мне, тоже зеленый, красивый паровоз «ИС» — Иосиф Сталин. Как правило, на остановках я подходил к паровозу — мощной, дышащей горячим паром машине, любовался красными большими колесами, лесенкой, ведущей в кабину, из которой в тот момент выглянули машинист, окликнул меня:

— Ну как, нравится? Эй, конопатый!

— Очень. Я такие рисовал... А сколько паровоз может без отдыха ехать?

— Да хоть до самой Москвы. Это мы, бригада, отдыхать должны, а паровоз... Сам же Сталин тут, читал на груди у паровоза?

— Читал. Но он же умер.

— Ничего не умер. Сталины не умирают. Что сам Иосиф Виссарионович, что локомотив наш. Этот еще побегает по рельсам, побегает! Сто лет проживет. В нем силичи... Во!

Машинист дал гудок, загорелся впереди зеленый глаз светофора, и я побежал в свой вагон, благо он был прицеплен в составе вторым.

\* \* \*

Дед встретил нас сдержанно, уже дома, на станцию Среднего Икорца никто не приходил, мать телеграмму не давала. Да и в письмах не сообщала, что собирается приехать.

Вещей у нас тяжелых не было, мать несла Людмилку, а я — небольшой чемодан и сумку с гостинцами.



— Так-так, с приездом, Мария, — с усмешкой произнес дед. — Уезжала, значит, с одним дитем, а приехала с двумя. Поздравляю. А муж имеется?

— Да дай ты им хоть раздеться, — хлопотала возле нас бабушка.

— А мы на самолете летели с Сахалина, вот! — поспешил я поделиться незабываемыми впечатлениями. — Туда на пароход, а оттуда по воздуху. Море сверху как неживое.

— Так-так, — повторил напевно дед. — Самолет, значит, летит, крылья стерлись, мы не ждали вас, а вы приперлися.

— Вот не успела на порог ступить, а ты уже завел старую песню. — В голосе матери обида. — В отпуск я, на неделю, не переживай. Лешу не отпустили, а то бы вместе приехали.

— Леша, надо думать, отец дитяти?

— Он самый. Он хороший человек, добрый. Обещал на мне жениться, ему мои дети не помеха.

— Так. А Октябрина?

— У нее тоже жених есть. Гриша. Он с Украины, хохол, плотник.

— Плотник это хорошо, если явится сюда, хижу отремонтирует, пол настелит. Охо-хо-о... — дед повздыхал, стал набивать «собачью ногу», сигарку, табаком. Самокрутка эта в самом деле походила на ногу собаки — большая, кривая, дымная. Раскуривая ее, дед заметил: «И стоило за хохлом аж на Сахалин переться! Их вон в Масловке полным-полно. Пять километров от нас».

— А Славка где? — спросил я.

— В школе, скоро придет, — отвечала на ходу бабушка. Она уже шуровала в печи рогачем, что-то оттуда доставала, бегала в сенцы, помогала матери раздевать Людмилку. — Славик тут учится, в санатории, у Загоруйко. В третий класс перешел, учится хорошо. Дед его на альту уже приспособил, дует помаленьку.

— А не рано, отец? — обеспокоено спросила мать. — Ребенок же.

— Ничего, ничего, — ровно отвечал дед. — Вторая партия альта нетрудная. Иста-та, ис-та-та... Чего там играть?!

Уже за столом, за наскоро накрытым столом, когда и Славка пришел, дед спросил:

— Так что: Валерка Чкалов остается тут, до кучи?

— Ну, если вы не против. — Мать с тревогой смотрела на деда.

— Нехай остается, — сказала бабушка, явно опередив возможно другой ответ деда. — И Славке веселей будет. И мне когда подсобить — воды из колодца достать, дров из леса принести.

Дед помотал головой, что означало согласие, и разговор за столом пошел о школе, об отметках Славки, о том, что завтра мне и матери надо сходить в Средний Икорец, записаться в школу, составить план занятий по пропущенному. Уже поднимаясь из-за стола, дед позвал меня с собой, в «опочивальню», где у него висели на стене, на крюках, двухствольное ружье и несколько духовых инструментов, подал тонкую белую трубу, велел:

— Ну-ка, пробуй.

...Мать уехала, мы с соседом, Витькой Клейменовым, ходили в Средний Икорец в школу — даже напрямую, под железнодорожный мост, километра три, а по весне, в распутицу, когда разливалась река Икорец, приходилось давать круг через Песковатку, и тогда прибавлялась еще пара километров.

Вдвоем ходить было интересней, километры эти как-то за разговорами молодыми ногами не замечались, а вот когда надо было идти одному (Витька часто хворал простудными заболеваниями), то... Представьте декабрь, темное утро, где-то около семи часов, кругом лес, темень, шорохи, странные звуки... Жуть!

Дед дал мне во временное пользование немецкий трофейный фонарик «Даймон»

с трехцветными огнями, теперь я ходил смело, светил вокруг себя, посылывал: «Ну, кто тут?.. Выходи на смертный бой!» В другой руке держал палку. Конечно, и я, и Витька боялись прежде всего волков, дед охотился на них, хотя я не помню случая, чтобы он приносил убитого хвостатого разбойника.

Теперь, кроме школьных занятий, мы со Славкой усердно занимались музыкой. В духовом оркестре заняты были средне-икорецкие мальчишки и санаторские ребята, мы играли и в школе, и в санатории, на танцах. И танцы были не то, что теперь дискотека. Под нашу музыку отдыхающие в санатории танцевали в пятидесятые годы: вальсы, танго, фокстроты, польку-бабочку, краковяк, вальс-бостон и даже *надеспань*. Под эту мелодию в послевоенные годы пацаны распевали шутивную песенку: «Жена мужа на фронт провозжала, насушила ему сухарей, а сама про себя все шептала: унеси его черт поскорей...»

Танцы танцами, это для взрослых, а нам, пацанам, кино подавай. И кино в санатории, конечно же, показывали, очень часто, да, считай, каждый день. Зимой — в клубе, в бывшей конюшне царского генерала Звягинцева (тут было его поместье), а летом — соответственно на летней, огороженной высоким деревянным забором площадке с множеством скамеек и открытой эстрадой. Работала касса, добровольцы-сторожа из сотрудников санатория следили, чтобы мы, пацаны, не проникали на площадку без билетов и не ковыряли в досках забора дыры, в какие кино можно было смотреть вполне комфортно. А пуще того, чтобы не лезли на деревья — сверху видно еще лучше.

И тем не менее, кино мы со Славкой смотрели. Да и Витька Клейменов от нас не отставал, правда, он был немного старше, лазать по деревьям не особо стремился, он мог купить билет и спокойно смотреть кино внутри зеленого санаторского театра. А мы не могли. Изредка дед, если и давал деньги, то на заработанные оркестром на похоронах или танцах, а так... Мать тоже присылала переводы нерегулярно. Словом, денег в доме на еду постоянно не хватало, какие там билеты в кино!?

И все же я хорошо помню увиденные с деревьев, и поныне стоящих вокруг летнего театра, кинофильмы: «Фанфан-Тюльпан», французская комедия; «Аттестат зрелости» с Василием Лановым в главной роли; военные, уже упоминавшиеся мной кинофильмы; та же «Волга-Волга» и любимые музыканты-драчуны из комедии «Веселые ребята».

Слушали мы с крепких, не подводивших нас веток и приезжих артистов Воронежской филармонии, или заезжих, залетных, я бы сказал, московских артистов (тогда это были единицы), а если уж совсем нечего было делать и не шел в легнем кинозале художественный фильм, то мы не брезговали и научно-популярными: «Разведение крупного рогатого скота», «Верблюжья шерсть — ценное сырье», «Осеменение коров в спецхозах Воронежской области»...

Мешанина в наших пацаньих головах от всего увиденного была жуткая. Мы все видели, все знали, во всем разбирались.

По-дилетантски, разумеется.

\* \* \*

Летом пятьдесят пятого года в гости к деду приехал с семьей сын Авель — с женой Тамарой и их сынишкой, моим двоюродным братом Борькой.

Мне было интересно глянуть на дядю Авеля: подлинного Авеля, сына Адама и Евы, убил Каин, церковь прокляла его, Каин потом вроде бы мучился от своего злодейства, но, тем не менее, долго еще жил, процветал, был в Сирии крупным землевладельцем... (Все это я прочитал в одном из словарей библиотеки санатория).

Авель Васильевич Лысиков был живым, конкретным человеком, военным музыкантом в одной из частей Костромы; ничего древнего, библейского я в нем не увидел, обыкновенный мужичок, курносый и с немного оттопыренными ушами. С первых

же минут общения чувствовалось, что у него мягкой характер, что он не умеет ругать-ся, сына Борьку — глазастого чернового молодого мальчишку — ласкал, то и дело гладил его по голове, говорил: «Сынок... сыночек, не бегай так, осторожней, упадешь...»

Приласкал и нас со Славкой, выдал каждому по игрушечному пистолету, это было очень кстати, теперь «войны с немцами» приобретали у нас самый настоящий, боевой вид. Борьку мы, конечно, тут же определили в немецкого разведчика, какого надо было разоблачить и «приставить к стенке».

Тетя Тамара (красавица, да, помню ее шикарную фигуру, белозубую улыбку и каштановые длинные волосы) — была «себе на уме». Хоть и улыбалась часто, и бабушке нашей охотно на летней кухне помогала, но дед сразу дал ей точную характеристику, мол, держит Авеля под каблуком, и я потом все приглядывался к ее туфлям — как это, интересно, тетя делает со взрослым мужчиной?

Дядя Апель привез с собой помповую желтую трубу; здесь, в воронежской глубинке, в оркестре деда, это было новинкой, дед и сам рассматривал инструмент с любопытством и немного поиграл на «помпе». Смотрели и мы со Славкой: оба имели теперь отношение к музыке, к духовому оркестру, он играл партию второго альты, а я первого. Вечером, как обычно, на открытой танцплощадке санатория, состоятся танцы, мы будем играть все те же вальсы, танго, краковяк... Напросился с нами и Апель; пошли и Тамара с Борькой — после танцев будет новое кино в «зеленом театре», так теперь официально и романтично называлась летняя площадка санатория все за тем же дощатым забором с «нашими» дырами.

Бабушка же оставалась дома, ей сказали пригостить сегодня праздничный ужин. Я, Славка и Боря с законными сейчас билетами (купил дядя Апель) сидели в первом ряду, держа эти самые бумажки-билетики на виду, в зажатых пальцах, и билетерша, вредная эта бабка Багнаха, тоже гонявшая нас с деревьев, лишь хмыкнула: ну-ну... смотрите, раз так.

Смотрели мы фильм «Верные друзья». Помните — три друга на плоту отправляются в отпуск по Волге? И песни там хорошие, памятные: «Что так сердце, что так сердце растревожено...» Или эта, забавная, веселая: «Плыла, качалась лодочка по Язереке...»

Потом, после кино, мы, семейство Лысыковых, шли гурьбой по темному лесу, и дядя Апель втолковывал мне:

— ...Это же придуманная история. Ну, поплыли, ну, всякие события там по ходу дела. Это не настоящие люди, а артисты, они изображают других. Писатель придумал историю, написал сценарий с ролями, артисты этот сценарий под руководством режиссера разыграли. Понял? Там еще и композитор многое сделал, песни написал, художник сцены продумал. Да, еще монтаж, озвучивание... много хлопот. Но главное — выдумка все это.

— Придуманная, непридуманная история, а смотреть интересно, — сказала тетя Тамара. — Мне понравилось.

— И музыка хорошая, — вставил и дед. — Я слушал, оркестр слаженно играет. — Да кино хорошее, я не спорю, — горячился дядя Апель. — Я просто объясняю Валерке, что кино — это игра. Борька, кстати, знает уже что к чему, я ему объяснял.

— Знаю, — важно кивнул Борька, не выпуская отцовской руки. Наверное, ему было непривычно и страшновато идти по ночному лесу. Не иначе, ему, как и мне, чудились в черных кустах волки...

В разговор с дядей Авелем я не вступил, промолчал. На данный момент моей тринадцатилетней жизни я был уже более или менее подготовленным зрителем, начал понимать, КАК делается кино. А рассказывать о своих занятиях на Сахалине с рисованными на бумажных лентах картинками не стал. Зачем? Детская игра... Задал лишь военному трубачу-музыканту провокационный вопрос: «А кто поставил этот кинофильм, «Верные друзья»? Кто играл в нем?»

Дядя Апель хмыкнул:

— Ну... Артисты, кто же. Особо мне запомнился этот... как его? Он часто снимает-ся. Здоровый такой, упитанный.

— Василий Меркурьев, — сказал я. — И еще Борисов играл, и Чирков. А поставил кино Михаил Калатозов. В титрах же все написано.

Дядя Апель (он держал свою помповую трубу подмышкой) даже остановился. Сказал жене, Тамаре:

— Нет, ты поняла? Я ему про технологию, а он мне конкретику, артистов. Всех запомнил. Вот память! Не иначе, быть ему артистом. Или режиссером.

Не знал Апель Васильевич, что я уже попрощался со своими киношными мечтами — море ждало. А похвалу про хорошую память слушать было приятно, она моряку пригодится.

А еще мы со Славкой перекинулись парой слов о том, что бабушка, конечно же, ждет нас всех с хорошим ужином, гости привезли кое-что из городских деликатесов — твердую колбасу, какую-то неведомую нам буженину, сосисок, рыбных консервов, пряников... Попируем! А то все бабкины «картоха да картоха»!

\* \* \*

Глубокой осенью этого же, пятьдесят пятого года, вернулась с Сахалина мать с дядей Лешей и дочкой Людмилкой.

Не скажу, что дед очень обрадовался их приезду, но жили мы «кучей» недолго: дядя Леша в соседнем селе, Масловке, это километрах в пяти от дедова дома, нашел в колхозной бригаде работу — стал механизатором. Имелось в виду, что сейчас, зимой, Алексей Кузьмич поработает на небольшом тракторишке ХТЗ-7, займется на нем делами по хозяйству, ближе к лету освоит комбайн, или возглавит ремонтную мастерскую, в бригаде было два грузовика ГАЗ-51 и два трактора. Семье нашей сразу же дали старый домишко об одной комнате и кухоньке, там стояла печурка и брошенный предыдущими жильцами шкаф. «Удобства», естественно, были на улице, зато школа-семилетка — прямо в соседнем доме. Мне предстояло начать, точнее, продолжить учебу уже в четвертой по счету школе, но, удивительное дело, и этот образовательно-испытательный барьер я преодолел, Масловскую школу окончил с отличными оценками, и выданное об этом «свидетельство» помогло потом при поступлении в...

Впрочем, не буду забегать вперед; всю зиму вместе с новым школьным приятелем Юркой Радченко мы рассылали письма в морские училища с просьбой прислать нам правила приема.

Дядя Леша принимал в этом активное участие своими советами.

— Да-а, Валерий Михайлович, — мечтательно говорил он вечерами, когда приходил с работы. — Штурман дальнего плавания — это, сынок, не дедов пес Угадай чихнул... Большой белый теплоход, ты в белом кителе, фуражка с кокардой, впереди океан. Ушел на полгода, страны поглядел, денег мешок привез...

— Да какой там мешок, Леша! — возражала мать. — Ты думаешь, моряки деньги лопатами гребут?

— А то! — не лез за словом в карман дядя Леша. — Особенно подводники. Ушел в плавание, на три-четыре месяца нырнул где-нибудь у берегов Америки, лодка лежит, ждет команды на пуск ракет, а денежки на берегу, в бухгалтерии, капают...

— Среднее образование бы тебе получить, — грустно сказала мать. — Да очень уж далеко ходить до Среднего Икорца, почти десять километров. Шутка сказать!.. Летом-то еще ничего, а осенью, в слякоть, в холод... А то бы в Воронеж попробовал поехать, в институт поступил.

— Можно у деда пожить, — предложил я. — Там ближе.

— Да ну-у! — возразил дядя Леша. — Славик там остался, не хочет с нами, ты тоже... Я думаю, что дед Вася будет против. И вообще, семья должна быть вместе.

— Да и мне разрываться на два дома, — вздохнула мать. — К деду не набегаешься. И Людочка еще маленькая...

Короче, было решено: поступать мне в мореходное училище после семи классов. А там видно будет, как продолжить образование.

Мы с Юркой выбрали Одесскую мореходку, с нетерпением ждали оттуда ответа на наш запрос — какие надо сдавать экзамены, на кого учат, сколько лет...

Я учился, учеба давалась легко. На уроках немецкого любил тянуть руку: «Их бин хойте орднер!» И по русскому языку преуспевал.

По весте явились с Сахалина и Октябрьяна со своим мужем-хохлом Григорием. Григорий и в самом деле был закоренелым хохлом, имел фамилию Швыдкой, то есть быстрый, но в жизни никуда не спешил, все делал медленно, не говорил, а «балакал», «чи шокал», часто употреблял чисто украинские слова, и мы со Славкой не всегда его понимали. Зато с нашей бабушкой, украинских кровей, они моментально нашли общий язык; дед же на второй день по приезду молодоженов приспособил на Григория круглый здоровенный бас. Григорий влез в него, как конь в хомут, крутнул коротко стриженной головой, засмеялся: «Ото ж, ты глянть, яка штука. И як же в нее дуть? Да тут попнуть от натуги можно». Но наловчился потом, дул исправно.

...Пришли наконец и правила приема в Одесское мореходное училище. Да, брали в него парней после семилетки, с хорошими оценками и отменным здоровьем. Если здоровье у нас с Юркой было «на пять», то по отметкам...

— Не, — сказал он мне. — В Одессу я не поеду, не сдам. Это как пить дать. Давай чего-нибудь попроще. Вот Горький, речное училище... Портовые машины и механизмы. Самое то.

И мы поехали в Горький. В Одессу одного меня мать непустила.

Двигался от июля к августу 1956-й год.

\* \* \*

О Горьковском речном училище, ГРУ (ныне город Нижний Новгород), можно рассказывать отдельно, оно этого заслуживает, но к моей киношной исповеди это имеет отношение только в одном случае: в том же пятьдесят шестом году на экраны страны вышел музыкальный фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». А поскольку в училище я играл на трубе и в духовом оркестре, и в самостоятельном джазике, мелодии «Карнавальная ночь» не прошли мимо нашего внимания. Мы с таким же усердием играли на училищных танцевальных вечерах и концертах «Пять минут», «Песню о хорошем настроении», «Песенку официанток», «Пасодобль-чететку», как это делал в кино знаменитый оркестр Эдди Рознера. Конечно, сравнивать наш самостоятельный ансамблик с мощным профессиональным оркестром Рознера нельзя, но играли же мы, играли популярные мелодии, и девушки, портнихи спецучилища, которых приглашали на наши вечера, танцевали под нашу музыку с удовольствием.

Главное же, ради чего я вспомнил речное училище, то, что в «Карнавальная ночь» пела... Людмила Гурченко. И кто мог знать, что спустя двадцать пять лет у какого-то бывшего курсанта механизаторского отделения ГРУ, Валерия Барабашова, выйдет в журнале «Молодая гвардия» повесть «Жаркие перегоны», а меньше чем через год по ней снимут цветной полнометражный кинофильм, где одну из главных ролей как раз и будет играть ставшая знаменитой Людмила Гурченко!

Понятное дело, я и сам никогда об этом не думал, четыре года носил почти морскую форму, вместо бескозырок нам выдавали фуражки, а во всем остальном — чистые моряки, и жизнь в училище шла по военному распорядку. И о моряках-героях в ГРУ не забывали. Каждое утро колонна курсантов под оркестр топала из общежития в

учебный корпус на улице Лядова 6, и набережную Волги города Горький оглашал бодрый знаменитый марш «Варяг», в мелодию которого вплетался и звук моей трубы.

Наверх вы, товарищи!  
Все по местам. Последний парад наступает.  
Врагу не сдастся наш гордый «Варяг»,  
Пошады никто не желает.

И командиром военно-морской подготовки училища был у нас капитан первого ранга Саблин, настоящий «морской волк».

Я терпеливо изучал подъемные краны, транспортерные ленты, правила погрузки-разгрузки вагонов и барж... Все время учебы участвовал в художественной самодеятельности, встречался с будущей портнихой, симпатичной девушкой, водил ее по воскресеньям в кино. Конечно, и на ту же «Карнавальную ночь»; но особенно мне запомнилась американская «Серенада Солнечной долины», где играл оркестр Гленна Миллера и где звучала вызывающая мурашки на теле потрясающая музыка.

Конечно, есть что вспомнить и другое из курсантской жизни: и как я стал было ходить в секцию бокса, но после первого же сражения на ринге бросил это занятие; и что два курсанта из нашей группы, Вячеслав Горбачев и Валентин Николаев, с самого первого года обучения посещали литературный кружок, который вел профессиональный писатель, и оба потом стали членами Союза писателей, а Вячеслав Горбачев был в «Молодой гвардии» заместителем Анатолия Иванова, автора «Вечного зова»... И как мы, участники джазбанды под водительством Сани Кулешова, нашего пианиста, дурачась, ходили с малым барабаном по этажам курсантского общежития, и Саня, театрально запрокинув руки, в разорванной на груди тельняшке, декламировал стихота собственного сочинения:

О, ГРУ, — тюрьма талантов!  
Здесь гибнет гений молодой.  
С душой возвышенной — атланта  
С токарно-винторезной головой...

Я лупил при этих словах в малый барабан, а еще паренек бил в звонкие оркестровые тарелки.

Шума и смеха в курсантских кубриках было много, нам аплодировали, но о «концерте» узнало начальство, и нас, «ходячих атлантов», едва не попросили из училища «за вольнодумство».

— Какая еще «тюрьма»?! — кричал перед вытянувшимся строем курсантов подполковник Галушкин. — Что еще за «токарно-винторезная голова»? Умники! Кто вас тут держит? Выгоним и — езжайте по домам! Артисты погорелого театра, ишь!.. По пять нарядов вне очереди! Гальюны драить. До блеска. Вперед!

Простили — «пели по дурости». Но на заметку взяли.

\* \* \*

Есть Боженька на небе, есть! Внимательно следит за всеми нами — богатыми и бедными, талантливыми и бездарными, успешными и не очень.

Неправ был дед Лысиков, что нужно смеяться над людьми в рясах — есть и от них польза, есть к кому прийти с болящей душой, кому доверить свою исповедь, с кем посоветоваться.

Боженька и меня заметил, явно наблюдал за мной в гуще людей. Наблюдал долго, лет двадцать, а то и больше: как я жил, чем занимался на земле, к чему стремился. И ведь все Всевышний подмечал, все знал. О чем я и сам уже забыл, от чего отказался. И мысли-устремления мои не забыл, не кинул в Лету. А главное, по справедливости поступил, как и должно быть. Счел, видно, что хватит ему, Валерию «Чкалову», журна-

листу и писателю Барабашову, мирских испытаний, всяких переживаний и напрасных ожиданий. Пора и возвысить его, поддержать, подарить радость. Пусть человек божий погрееется на старости лет в тепле скромной славы и дружеских рукопожатий да поздравлений...

Чтобы не прерывать биографическую цепь своей жизни, сообщу лишь, что после окончания Горьковского речного училища я был распределен в Пермь, на Каму, работал крановщиком в порту, но всего одну навигацию. Уже осенью 1961 года мне предложили перейти на работу в Пермский горком комсомола, простым инструктором. Поступил на вечернее отделение Пермского политехнического института, но скоро понял, что интегралы, высшая математика и сопротивление материалов (сопромат) — не для меня, душа моя сопротивлялась как могла в поисках другого образовательного места. Им стал Пермский университет, экономический факультет, который я и окончил заочно, уже переехав в Воронеж — дед предложил вернуться на родину.

С осени 1965 года я в Воронеже, инженер отдела труда и заработной платы завода «Электросигнал».

Потом с 1969-го по 1971-й — офицер укрепрайона в Забайкальском военном округе, а по возвращении — на творческой работе в воронежских газетах «Коммуна», «Молодой коммунар», в газете «Гудок» в Свердловске, в журнале «Урал» (там же), и снова Воронеж, четырнадцать лет в журнале «Подъём»...

Все эти минувшие двадцать лет — самостоятельная учеба: очерки в газетах, проба пера в прозе, чтение, изучение русской, самой лучшей в мире литературы, просмотр советских кинофильмов. Вот они, шедевры мирового кинематографа: «Тихий Дон» Сергея Герасимова, «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Преступление и наказание» Л. Кулиджанова, «Свадьба в Малиновке» А. Тутышкина, «72 метра» В. Хотиненко, «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой, комедийные фильмы Леонида Гайдая, «Жестокий романс» Эльдара Рязанова, «Табор уходит в небо» Э. Лотяну, «Тарас Бульба» В. Бортко, «12 стульев» М. Захарова, фильмы по сценариям В. Мережко... Назову далее военные кинофильмы, воспевающие героизм советского солдата, его преданность Родине, любовь и верность тем, кто остался их ждать — матерей, жен, невест: «Баллада о солдате», «Летят журавли», «А зори здесь тихие», «Судьба человека», «Белорусский вокзал», «Женя, Женечка и «катюша», «В бой идут одни старики»... И, конечно же, кинофильмы Василия Шукшина, та же «Калина красная», «Печки-лапочки», «Живет такой парень», «Ваш сын и брат»...

Список замечательных советских кинофильмов можно продолжать.

Отдельно скажу о фильме Карена Шахназарова «Мы из джаза». Смотрел его множество раз, и по телевидению его часто показывают, и на диске DVD он у меня есть. А фильм — музыкальный, умный, рассказывающий о целеустремленных молодых людях — живо напомнил мне о Горьковском речном училище, где мы, курсанты, играли свой джаз и тоже преодолевали сопротивление военного начальства. И помнили формулу-предупреждение: «Если он играет джаз, так и Родину продаст».

...Словом, книги читались, кино смотрелось, все запоминалось. Как потребность в самообразовании, стремление лучше, глубже понимать жизнь вокруг, как необходимость разбираться в том, что до тебя сделали выдающиеся, гениальные люди — писатели, кинорежиссеры, актеры. Ведь ты тоже взялся за перо. А назвался груздем — полезай в кузов, так говорит наш мудрый народ. Гений, один из моих любимых учителей, Максим Горький, предупреждал: «Художник может научиться только у художника». И совет, и заповедь — учись и учись. А Шарль Луи Монтескье, французский просветитель XVIII века, еще и уточнил важную для меня лично мысль: «Те, кто любит учиться, никогда не бывают праздными». Точно сказано! Моя жизнь прошла в учебе, вечных делах, в литературной работе.

Журналист, работающий в газете, но имеющий уже писательские амбиции, должен время от времени менять место работы. Можно всю жизнь просидеть в одной газете, со временем стать и ее редактором, и пойти далее по партийной линии, но литература требует времени, новых впечатлений, упорного труда. И свободную голову.

В 1975 году я написал первую свою повесть «Дом родной» — как раз о жизни у деда в хуторке под санаторием им. Цюрупы. В местном издательстве ее печатать не стали, сказали, мол, таких повестей много, давайте что-нибудь другое. Но повесть не пропала, вышла сначала в Свердловске, в коллективном сборнике, а потом и в Воронеже, отдельной книжкой.

С весны следующего, 1976 года, я стал собственным корреспондентом газеты «Гудок» по Свердловской железной дороге, и, конечно же, масса новых знаний и впечатлений о работе магистрали буквально свалились на мои блокноты.

Собкор пусть и ведомственной газеты на крупнейшей в стране дороге — в центре событий и проблем государства. На железной дороге сходятся, пересекаются интересы многих: промышленников, угольщиков, нефтедобытчиков, лесопереработчиков, оборонщиков, рыболовов, энергетиков, сельхозпроизводителей... И, наконец, пассажиров.

Железная дорога — особая отрасль, со специфическими проблемами. Их предстояло понять, осмыслить на государственном уровне, чтобы грамотно выступать в газете, не говоря уже о конструировании литературного произведения.

Должен сказать, что Свердловск встретил меня тепло. Начальник дороги Герой Социалистического Труда В.Ф. Соснин, в прошлом машинист паровоза, сразу, что называется, протянул руку дружбы. Он дал мне возможность, не торопясь, вникнуть в проблемы Свердловской магистрали. С его помощью я разбирался в тонкостях работы служб и подразделений, знакомился с людьми, присутствовал на совещаниях, постигал из доверительных бесед о взаимоотношениях обкома КПСС и дороги. В то время Свердловским обкомом руководил Б.Н. Ельцин. Публике, журналистам, он преподносил себя как убежденный и преданный делу партии коммунист. В представительном седовласом трибуне, с громовым, хорошо поставленным голосом, сложно было представить будущего разрушителя советского государства. Но до появления на политической арене М. Горбачева, а потом и самого Ельцина в Москве было еще несколько лет.

Я занимался в «Гудке» своими делами, а материал для повести накапливался сам собой. При случае, а точнее, по служебной необходимости вникал в ЧП на дороге. Тогда, в середине семидесятых, об этом писали мало. О серьезном происшествии на Тюменском отделении «по секрету» узнал от начальника одной из служб управления, называлось большое число пострадавших пассажиров и гибели локомотивной бригады. Столкновение пассажирского и грузового составов произошло в ночное время по вине дежурного по станции, который спросонья пустил скорый поезд по занятому пути.

Я стал размышлять об этом, собирать дополнительный материал. Толчком к написанию повести «Жаркие перегоны» послужил прочитанный роман Артура Хэйли «Аэропорт».

Имея уже небольшой опыт создания литературного произведения, я стал обдумывать конструкцию нового. Внутреннее ощущение подсказывало напряженное, передающее правду работы железнодорожного транспорта произведение, его ритм.

Время было советское, действовали обкомы, партия руководила работой железнодорожного транспорта, и я знал о фактах волонтаристского вмешательства в работу Свердловской дороги со стороны одного из отделов обкома КПСС. К примеру, единовременное указание этого отдела помочь одному уральскому нефтеперерабатывающему заводу создало прецедент: скорый поезд остановили, а пустые цистерны изпод нефти пропустили вперед.



В данной конкретной ситуации ЧП на Свердловской дороге не случилось, но меня, как автора, это уже не устраивало. В памяти было происшествие на Тюменском отделении. Машинисту скорого пришлось нагонять опоздание, а впереди была ночь, и полусонный дежурный на станции, и столкновение, где погибли люди.

Родилось название повести «Жаркие перегоны».

Появились герои: начальник дороги Уржумов; машинист Шилов и его помощник; поездной диспетчер Бойчук; толкач от нефтеперерабатывающего завода Капитолина Гвоздева; проводница пассажирского вагона, пассажир-двойник и другие персонажи. Каждый из них должен был иметь свои личностные характеристики и линию поведения в той или иной ситуации в развивающемся сюжете.

Поездной диспетчер Бойчук задерган напряженными командами из отделения, а отделением, в свою очередь, командует управление, а тем — обком. Бойчуку, к тому же, то и дело звонит жена: «Ты ходил к начальнику, просил квартиру? Сколько можно жить в общежитии, в одной комнате?» Затурканный диспетчер допустил оплошность: не проверил количество цистерн на остановленном по станции Санга поезде, и одна из них осталась на пути, по которому уже мчался скорый...

Из кабины машинист Шилов и сам уже видит торчащий хвост нефтеналивного состава, и визжат уже тормозные колодки, и стонет от напряжения весь состав скорого поезда... Но удара не миновать.

Нет смысла пересказывать всю повесть.

В 1981 году «Жаркие перегоны» напечатал журнал «Молодая гвардия».

Примерно через месяц на мой домашний адрес в Воронеже (я вернулся в родной город), пришла из Ленинграда телеграмма: «...Предлагаем экранизировать вашу повесть... Сообщите решение. Редактор Павлов».

Вот это ТЕЛЕГРАММА! Вот это поворот судьбы! Это не рисованные на бумажной ленте картинки, это... Говорят в таких случаях: нет слов передать эмоции. Самый реальный пример, хотя, конечно, слова можно найти, русский язык богат, может выразить любые эмоции. Но в тот момент, когда я получил весточку из Ленинграда, просто перехватило дыхание. Вот и все слова.

Решение было принято, я дал ответную телеграмму, сел за сценарий, и скоро он поехал на киностудию «Ленфильм». А следом и я поехал...

За постановку фильма взялся известный кинорежиссер Виктор Трегубович, автор фильмов: «Даурия», «Старые стены», «Прохиндиада» и других. Актеров в съемочную группу он набрал именитых: роль начальника дороги досталась Кириллу Лаврову, народному артисту СССР; роль поездного диспетчера исполнил Владимир Гостюхин; роль толкача от нефтезавода — Людмила Гурченко; Владимир Меньшов был в роли директора одного из заводов, председателем совета директоров; Игорь Дмитриев — пассажир-двойник; проводница — молодая актриса Марина Трегубович...

Со мной заключили договор, заплатили по тем времена хорошую сумму (три тысячи рублей), в титрах автором сценария стоял Трегубович. Мы с Юрием Павловым обмыли гонорар и я уехал.

...Фильм сняли быстро, за девять месяцев. На съемках я не присутствовал, не было, видно, нужды у режиссера, да и шли они далеко от Воронежа, под Красноярском.

Потом была в ленинградском Доме кино премьера «Магистрала», многие из членов съемочной группы стояли на сцене, в том числе и я, были хорошие отзывы зрителей и аплодисменты создателям кинофильма. Слушая их, я подумал с удивлением и, конечно, тщеславно: мол, как один человек, написавший повесть, своими творческими фантазиями может привести в действие столько людей — режиссера, артистов, железнодорожников Красноярской магистрала, которые помогали Трегубовичу снимать фильм... Позже эти мысли ушли: в нашей стране много пишущих людей, много студий, кинофильмов снимается много. Мне просто повезло, улыбнулась судьба.

Должен рассказать об одной встрече на «Ленфильме», ибо благодаря ей я попал в еще одно кино — совершенно неожиданно, вдруг.

...Сидим с редактором Юрием Павловым, в его кабинете после премьерного показа «Магистрала», потягиваем из бутылочки коньяк. Дверь в кабинет закрыта, с алко-голем на киностудии строго.

Неожиданно стук в дверь и насмешливый чей-то голос: «Откройте! Я знаю, что вы здесь и пьете коньяк».

Юрий сунул бутылку под стол, мы махом убрали стаканчики.

Вошел мужчина, лет сорока пяти, улыбающийся, чем-то довольный, протянул мне руку: «Ясан. Эрнст».

— Режиссер, — добавил за него Павлов.

Я тоже назвался.

Бутылка снова оказалась на столе, а дверь закрыта.

Ясан и Павлов о чем-то говорят, но я скоро понимаю, что речь идет о фильме, который предстоит снять Ясану и у него не хватает актеров.

Выпитые пара стаканчиков коньяка могут подвигнуть иного мужчину на подвиг. Я обратился к Ясану:

— А нельзя ли мне сняться в вашем фильме, Эрнст?

Он глянул на меня, ровно ответил: «А почему нет? Вы актер?»

— Он писатель, из Воронежа, — сказал Павлов. — Вот «Магистраль» по его пове- сти обмываем.

— А-а, писатель! Ну что — тоже лицедей у себя на бумаге. Я подумаю. Адрес у тебя, Юра?

— Да, есть, — кивнул Павлов.

Ясан ушел, бутылка была допита.

— А ведь он тебя вызовет, — сказал Павлов. — Ясан — человек слова.

— А я поеду, — бодро выпалил я. — Только кого играть? Эрнст не сказал ничего.

— Не переживай. Он взял типаж, твое лицо. Подберет чего-нибудь по сценарию. С тем я и уехал. И почти забыл о той встрече.

...В мае 1982 года в Воронеж приезжали с премьерой «Магистрала» представители «Ленфильма»: режиссер Виктор Трегубович, актер Кирилл Лавров, и редактор В. Воль- фонс. Власти оказали им радушный прием: разместили в хорошей гостинице, орга- низовали встречи со зрителями. Фильм шел сразу в двух залах кинотеатра «Пролета- рий», перед каждым сеансом мы выступали, рассказывали, как создавался фильм, как писалась повесть, ну и так далее.

Уж сколько лет прошло, но те майские солнечные счастливые дни восемьдесят вто- рого года — в яркой памяти у меня, как будто это было вчера.

Три дня шла «Магистраль» в «Пролетарии», три дня я был рядом с большими, талантливыми людьми, теми, о которых мечтал в детстве, которых боготворил.

— Хорошо тут у вас, — говорил, жмурясь на солнышко, Кирилл Юрьевич. — Теп- ло. И кинотеатр хороший, такого в Ленинграде нет. А о зрителях и не говорю — такие благодарные, внимательно слушают, спрашивают... а как аплодируют!

«Магистраль» потом пять лет подряд шла по первому каналу телевидения на День железнодорожника, канал «Культура» показывал фильм к 70-летию режиссера (Вик- тор Иванович безвременно ушел из жизни), по «Звезде» я смотрел кинофильм осе- нью 2016 года.

...Жизнь имеет свои законы: нет с нами Виктор Трегубовича, умер Кирилл Лав- ров, нет и Людмилы Гурченко... А живой пока автор этого очерка спешит рассказать читателям, как он сам снимался в кино. И напомнить, что существует еще один фильм, снятый по моему сценарию.

Эрнест Ясан прислал-таки мне вызов на съемки.

И я таки поехал.

Полетел на самолете в Днепропетровск, где предписывалось быть такого-то августа 1982 года. Называлась гостиница, ее адрес...

Естественно, мне дали сценарий. Я узнал, что фильм, в котором предстояло сниматься, назывался «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ». И играть мне предстояло начальника отдела сбыта радиозавода по фамилии Корякин. В сценарии были и тексты, которые надо было произносить мне в разных диалогах.

Сюжет кинофильма был отражением начавшейся в стране перестройки, необходимости сменить высшее руководство страны. Умирали один за другим Генсеки КПСС: Брежнев, Черненко, Андропов...

Вот и предлагалась «ненавязчиво» в «Дублере...» игра: старое руководство завода на месяц идет в отпуск, а предприятием будет руководить молодежь, как в заводоуправлении, так и на местах, в цехах.

В общем, чисто производственный сюжет, но с легко угадываемом идейным прицелом: молодежь справится.

Начальнику отдела сбыта, то есть Корякину, предлагалось активно заботиться о поставке пресс-порошка для деталей радиостанций, звонить поставщикам, спорить, доказывать, возмущаться задержками и прочее. И еще оправдываться перед директором завода за срыв этих поставок. Словом, тексты-фразы скучнейшие.

Но их надо было знать, и я, лежа в гостинице на кровати, зубрил словеса. Вошел артист, подал руку:

— Иван. Краско.

— Родители назвали Валерием. В честь летчика Чкалова.

Краско кивнул с улыбкой; сел на соседнюю кровать, послушал мое заунывное: «Этот начальник отдела сбыта... Почему срываете поставку порошка?.. Да вы понимаете, что у нас останавливается сборочный цех, срывается месячный и полугодовой план!..» Иван посоветовал: «Брось, Валера. Перед съемкой глянешь, текст небольшой... Пошли к девочкам на второй этаж, в карты поиграем».

Иван Иванович, тот самый Краско, очень известный артист, который в 2017-18 годах прославился на телевидении своими семейными делами, добавил:

— Ты говори близко к тексту. Слово в слово не зубри, можешь забыть.

— Угу, спасибо за совет. В карты играть не пойду, извини.

— Ладно, понял. А ты что — решил пробиваться в артисты?

— Так получилось. Попросил Ясана.

— Ну, пробуй. Только совет дам: не играй никого, а то в дураках окажешься. Какой ты есть, так себя и веди, так и говори. Ясан типаж подбирал, вот и действуй в рамках самого себя.

— Спасибо за совет, Ваня.

— Ладно, жуй. А я пошел. До утра далеко...

...Вечером в своем двухместном номере нас, съемочную группу, собрал режиссер. Представлял артистов друг другу, актеры были известными, из театров Москвы и Ленинграда: Михаил Глузский, Игорь Горбачев, Борис Плотников, Ольга Волкова, Иван Краско, Наталья Данилова, Людмила Шевель...

Представил и меня: воронежский писатель, на «Ленфильме» по его повести Виктор Трегубович снял хороший фильм.

Артисты смотрели на меня с некоторым интересом. Я чувствовал себя не в своей тарелке. Единственное, что утешало: не поздно сбежать, если что.

«Бог ты мой, куда ты влез? — холодея душой, думал я. — Люди профессионально занимаются театром, кино, а я... Сидел бы дома, пописывал...»

На следующий день началось главное — съемки.

Как водится, разбили тарелку, Ясан выставил на стол несколько бутылок красного вина для поднятия духа и сплачивания коллектива, оператор со своим помощником наладил камеру, дождались солнца и... прозвучала так знакомая многим зрителям команда «Мотор!»

Снималась сцена с М. Глузским, директором завода, когда он строго спрашивал со своих подчиненных о сроках, планах и прочее.

Дошла очередь и до начальника отдела сбыта:

— Почему нет порошка?! Вы срываете план! Вы останавливаете сборку!

Позор самодельного артиста явился сам собой, во всю красу.

— Понимаете, товарищ директор, поставщики...

— Что поставщики?

— Обещали, но...

— А почему вы здесь сидите, на совещании? Вы должны быть в дороге, у поставщиков, на их предприятии!

Мне кажется, Глузский и сам импровизировал с текстом, и я должен был чего-то такое выдумывать ему в унисон. Но изо рта валилась каша, и Ясан приостановил наш «диалог».

Потом повторили эпизод, повторили еще раз...

Это в кино в порядке вещей.

В некоторых сценах — на какой-то даче, на берегу реки — у меня не было текста, я просто сидел и смотрел, слушал, что делали другие артисты. И у меня росло ощущение, что пора бросить эту забаву. Кино изнутри — это серьезная, кропотливая работа, подчиненная режиссеру, но требующая и творчества актеров. Истина прописная, но она усваивалась мной только теперь, изнутри съемочного процесса профессионального кино.

На другой день я улетал в Воронеж, с твердым намерением в съемках больше не участвовать. Но! Не тут-то было. Роль начальника отдела сбыта, оказывается, важная, человек уже начал в ней сниматься, менять актера на ходу никто не собирался.

Короче, через небольшой промежуток времени мне снова прислали телеграмму: «Приглашаетесь на павильонные съемки такого-то числа... в Ленинград, на студию».

Краско встретил меня улыбкой: «Ну, писатель, въехал в роль?» Я мямлил что-то несуразное, на что Иван сказал: «Помнишь, что я тебе сказал в Днепропетровске? Не играй никого. Какой есть, таким и будь».

В павильонных съемках дело у меня пошло полегче, осмотрелся, понял, что лучше и как говорить, подарил режиссеру одну из своих книжек, он повертел ее в руках, спросил: «Ну, а мне что вам подарить?» Я сказал: «Крупный план», и Ясан кивнул, кивок-согласие подтвердил делом.

Там, на студии, в коридоре я повстречал Кирилла Лаврова, он узнал меня, удивленно спросил: «Валерий, а вы что здесь делаете?» — «Снимаюсь в кино у Эрнеста Ясана»... — «Интересно... Ну, успехов! А я тоже снимаюсь в новом фильме «Колье Шарлотты»».

Мы обнялись, прощаясь.

...Фильм «Дублер начинает действовать» вышел на экраны в 1983 году, имел немалый успех и хорошую прессу. Он попал в струю перестроечных настроений в стране, нарождающейся властью Михаила Горбачева поддержан, его много раз демонстрировали по телеканалам.

Фильм получился хорошим, да. С живым юмором, с оригинальной музыкой композитора В. Бибергана, с профессиональной игрой актеров. Себя я, разумеется, в пример не беру, хотя и появляюсь на экране раз десять. Типаж, что там говорить, лицо... Да и голос другого человека...

Но снимался же! Был внутри кинопроцесса. О кино стал знать немного больше.

Эти важные для писателя события — создание по его произведению кинофильма и участие его самого в съемках другого кино, придало сил.

Задумался я об экранизации своего романа «Белый клинок», написанного по событиям крестьянского восстания на юге Воронежской области, центром которого стала слобода Старая Калитва, а восстание возглавил Иван Колесников, бывший командир Красной Армии, местный житель.

Идею поддержало управление КГБ по Воронежской области, оказало некоторую помощь в создании сценария и выезда на место будущих съемок автора и режиссера. Идеей кинофильма загорелся наш земляк, кинорежиссер Василий Панин, постановщик нескольких известных кинофильмов. Он активно взялся за дело, наметил даже исполнителей главных ролей... Но речь идет о конце восьмидесятых и начале девяностых годов, когда совершилась в стране контрреволюция, СССР развалился под руководством Горбачева и Ельцина, фильм об успешной борьбе чекистов с воронежскими повстанцами оказался ненужным.

Существует сценарная 8-серийная версия «Мятежной Калитвы», но будет ли она когда-нибудь экранизирована — большой вопрос.

Завершая повествование о своих киноамбициях, скажу, что в 2006 году московской кинокорпорацией «Арена» по моему сценарию был поставлен цветной художественный фильм «Театральный капкан». Это одна из сюжетных линий моего романа «Крестная мать», выходившего в Москве и Китае. «Театральный капкан» — своеобразный протест против разнузданности в искусстве, режиссерского волюнтаризма и безнравственности.

Фильм поставил Михаил Кокшенов, он же снялся и в одной из главных ролей вместе с известными актерами Алексеем Булдаковым, Натальей Хорохориной, Алексеем Паниным и молодыми артистами московских театров. Фильм живет на дисках DVD и в сети Интернета, так же, как «Магистраль» и «Дублер начинает действовать».

